

ДМИТРИЙ ЧЕРНОВ

ДИРЕКТОР ЦИРКА

ЗА КУЛИСАМИ
ВСЕГДА ЕСТЬ
ДРУГАЯ ПРАВДА



Дмитрий Чернов
Директор цирка

«Автор»

2026

Чернов Д. В.

Директор цирка / Д. В. Чернов — «Автор», 2026

Франция, начало XX века. Умиравший директор цирка Эмиль Трувэ просит сына выслушать его последнюю историю. Когда-то он был подкидышем, которому предстояло пройти путь до руководителя лучшего цирка страны. Теперь дело всей его жизни может быть продано семье давнего соперника. У Эмиля остаётся одна ночь, чтобы рассказать, какой ценой ему достался успех и о чём он предпочитал молчать долгие годы. За блеском манежа скрываются тяжёлый труд, соперничество, любовь и решения, изменившие судьбы близких. Украденные часы и непрочитанные письма хранят прошлое, с которым пора встретиться. «Директор цирка» - история о цене признания, трудном разговоре отца и сына и наследстве, которое невозможно измерить деньгами. Сумеют ли они услышать друг друга?

© Чернов Д. В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Оглавление	6
ПРОЛОГ. Караван	8
Караван	8
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Приют	9
Ящик из-под яблок	9
Писарь	10
Улица	11
Орёл	12
Сен-Мор	13
За воротами	14
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Шатёр	15
Опилки	15
Первый вечер	16
Огюст Верну	17
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Дмитрий Чернов Директор цирка

Дмитрий Чернов

ДИРЕКТОР ЦИРКА

Роман

Франция, начало XX века

Оглавление

ПРОЛОГ. Караван	
Караван	
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Приют	
Ящик из-под яблок	
Писарь	
Улица	
Орёл	
Сен-Мор	
За воротами	
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Шатёр	
Опилки	
Первый вечер	
Огюст Верну	
Двенадцать франков	
Два франка	
Зима	
Мадлен	
Яблоки	
Берейтор	
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Касса	
Аренда	
Афиша	
Первое апреля	
Лекурб	
Чужой праздник	
Морковь	
Кризис	
Два шатра	
Письмо	
ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ. Свой шатёр	
Гнедая	
Брезент	
Пожар	
Новый шатёр	
След	
Врач	
Третий раз	
Уход	
ЧАСТЬ ПЯТАЯ. Директор	
Двадцать четыре лошади	
Скука	
Мадемуазель Жанна	
Яблоки, четвёртый раз	
Ключ	
Испытание	
Дом Лекурба	

Тот же вечер
Бумаги
Дом
Женщина в старом пальто
Прощание
Письмо из Лиона
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. Имя на афише
Вечер с президентом
Афиша
Антракт
Ночь
Ты выходил
Свет
Договорил
ЭПИЛОГ

ПРОЛОГ. Караван

Караван

Лампа коптит, но ты её не трогай. Мне нравится этот запах. Так пахло в тот вечер, когда я первый раз вошёл в шатёр.

Сядь, Воробей. Нет, не на сундук, он старше нас обоих и не любит гостей. Вот на табурет. Хорошо.

Дай мне руку. Не эту, левую. Мне просто тяжело дышать, а когда я держусь, легче — значит, я всё ещё верю в опору. Ты бы сейчас сказал, что это значит, что у меня нет сил держать голову. Я это слышал от тебя на прошлой неделе и, представь, слышал.

Ты пришёл сказать, что хочешь продать цирк сыну Лекурба. И что десять лет ждёшь, когда я умру. Не отвечай. Я не глухой, мне просто трудно смотреть в терпеливые лица. Я и сам тянул слишком долго, но не из вредности, а потому что не знал, кому отдать. Это не одно и то же, хотя к делу не относится.

Врач говорит, до весны я не дотяну. Врач говорит это с прошлой весны. Я верю ему примерно так же, как ты мне в двадцать лет. Поэтому договоримся: сегодня ты ничего не решаешь. Сегодня слушаешь. Завтра делай что хочешь — цирк твой. Я не стану вставать из гроба, чтобы тебя отчитывать; мне и при жизни не хватало на это сил.

Ты знал директора. Ты знал человека в сюртуке, которого боялся кассиры и любит полиция. Про того мальчишку я тебе не рассказывал ни разу. Мне было неловко. Мне и сейчас неловко, но у меня больше нет времени на неловкость, а время — это единственное, что нельзя взять в долг.

Видишь часы? Вон там, на столе, рядом со стаканом. Нет, не бери. Ещё нет.

Они не мои. Я знаю это шестьдесят семь лет. Я украл их на ярмарке в Сен-Мор, в день, когда мне исполнилось шестнадцать, или около того, потому что настоящего дня рождения у меня не было: его выбрал писарь в приюте, у которого, кажется, было плохое настроение. Часы были золотые, на цепочке, а карман у хозяина такой глубокий и такой беспечный, что я даже не успел подумать, что делаю.

Я расскажу тебе, как стал Эмилем Трувэ. История длинная, и в ней будет много плохих поступков. Моих, чужих, а иногда один и тот же поступок на двоих. Я никого не оправдываю. Я просто рассказываю по порядку, потому что беспорядок — это когда рассказываешь то, что выгодно.

И ещё. Ты принёс что-то в кармане и второй раз уже держишься за него через куртку. Мне не надо знать что. Я к тому, что если принёс — можешь и не отдавать. Это я так, к слову.

Лампа коптит. Не трогай.

Итак.

Меня нашли у ворот приюта Сент-Аньес в ноябре, в ящике из-под яблок.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Приют

Ящик из-под яблок

Ящик был картонный, маленький, с дырками по бокам — в таких возят яблоки на базар. Говорят, от него ещё долго пахло мокрым картоном и яблоками. Говорят потому, что я этого помнить не могу: мне было, наверное, несколько часов.

Сторож, который меня нашёл, сначала решил, что это кошка. Их тоже иногда выставляли в такой таре. Он уже взялся отнести ящик в мусор, но потянул за край, и ящик оказался тяжёлый. Тогда он снял доску, посветил фонарём и пошёл будить сестру Агату. Сестра Агата разбудила мать-настоятельницу, мать-настоятельница — врача, а врач утром сказал, что я, скорее всего, не умру.

Был ноябрь, и шёл дождь. Дожди тогда шли, кажется, всё моё детство, и до сих пор, когда ноет поясница, я думаю: будет дождь.

Сестра Агата была добрая и пахла мылом. Она не была красивой и не старалась, и для ребёнка в приюте это было лучше всего на свете, потому что красивых сестёр обожают, а добрых можно любить без надрыва, просто как хлеб.

Она первая сказала при мне: найденный. Так говорили в приюте. Это было слово, а не приговор, — приговоров там вслух не произносили, потому что приговоров и без слов хватало.

Первое, что я помню, — не ящик и не дождь. Пол. Приютский пол, каменный, вытертый скамьями, с одной половицей у окна, которая грелась на солнце. Все дети считали её своей. Моей она была ровно до того дня, когда мне объяснили, что у меня ничего нет.

Второе — что я всегда знал, что я не как все. Не хуже. Именно не как. Такие вещи не объясняют: ребёнок узнаёт их по тому, как на него смотрят, когда он входит, и по тому, что не договаривают, когда он приходит слишком быстро.

Третье — я решил быть богатым. Мне было лет семь, и это было не мечтой, а решением о том, что я буду делать в жизни. Я был в этом смысле очень ранний.

В приюте была книга. Одна на всех, с картинками, про путешествия. Я выучился читать по ней, потому что из неё нельзя было узнать ничего о том, как жить здесь, и поэтому она ничего мне не портила. В ней были люди на ходулях в воде, люди в снегу, люди, которые рисовали небо. Я знал её наизусть. Мне до сих пор кажется, что первые города я увидел не тогда, когда в них приехал.

Мать-настоятельница была не злая. Она была усталая — всю мою приютскую жизнь, и, кажется, с этой усталостью и умерла. От неё я первый раз услышал то, что потом нёс через всю жизнь: пока голова ясная, руки найдут, что делать.

Я говорю это, чтобы ты понимал: детей находят не только в ящиках. Меня нашли в ящике, это подробность. Кого-то нашли в кузове, кого-то в канаве, кого-то в серой комнате — работа одна и та же. Однажды мне сказали, что раз меня положили в ящик из-под яблок, значит, присмотр всё-таки был: меня хотя бы не бросили в колодец, как в тот год одному не успели помешать.

Я это выслушал, а сам думал: в колодец. В колодец. И запомнил.

Писарь

В приюте была контора, в конторе — книга, в книге — все мы. Он приходил туда дважды в неделю, садился на ободранный стул, надевал очки и переписывал то, что ему давали: списки, прошения, отчёты, из которых город узнавал, что он сделал для сирот, — ровно столько, чтобы сам он этим не делился.

Он пах чернилами и сырой шерстью, потому что всегда был в пальто. Он никогда не смотрел на нас. Это не жестокость, это устройство работы: у него было пятьдесят таких, как я, за неделю, и если бы он на каждого смотрел, он бы не смог.

Фамилию он мне придумывать не стал. Посмотрел в книгу, где было написано «подкидыш», вздохнул и написал: trouvé. Найденный. Может, просто «найденный», может, с какой-то приставкой — я до сих пор не знаю, и это единственная подробность моей биографии, которую я не могу проверить, потому что первая страница той книги сгорела вместе с архивом в двадцать девятом.

Сестра Агата говорила, что он выбрал за пять минут. Я не верю, что за пять. Думаю, он вообще не выбирал: он написал то, что лежало ближе к перу. Нас были тысячи, по всей Европе, в двухстах таких же домах, и в каждом лежал свой. В моей строчке он не остался. В списках литературы он тоже не остался.

Имя я его не любил. То есть сначала не любил, потом поверил в него, а потом понял, что оно было точнее всех, кто его придумал.

День рождения он тоже выбрал. Ему нужно было что-то поставить, и он поставил всем подряд одно и то же число — четырнадцатое июля, потому что в тот день в конторе было принято ставить четырнадцатое июля. И я родился вместе с двадцатью другими в один день и попадал из-за этого в списки на праздники. Когда я говорил, что мне столько-то лет, я говорил правду, и правда шла по бумаге, а от меня не шла ни одна.

Ты, наверное, думаешь, я рассказываю это, чтобы объяснить, откуда я такой. Нет. Я рассказываю это, чтобы объяснить, откуда взялась моя любовь к накладным и квитанциям. Всё, что было потом, было мстью бумаге, и ты это вспомнишь через сто страниц.

А писаря ты не помнишь. Ты пришёл, когда его уже не было. Но я его встретил ещё раз, и об этом ты узнаешь в своё время, потому что если рассказать сразу, это будет просто дяденька с чернилами.

В приюте я прожил до четырнадцати. Ничего особенно хорошего и ничего особенно плохого со мной там не случилось. Я ел то, что давали, и всегда был голоден. Я спал в длинной комнате, где под потолком шли трубы, и там был мальчик по кличке Орёл, который храпел. Мы с ним полгода воевали, а потом стали как братья, и я за всю жизнь ни разу его не предал. Это, пожалуй, единственное, чем я могу похвастаться до четырнадцати лет.

Я не был вором. До четырнадцати я не украл ничего. Говорю это спокойно, потому что давно перестал этим гордиться: я не украл только потому, что мне не приходилось. Когда пришлось — украл сразу и хорошо.

Улица

Из приюта выходят двумя путями. Хорошие идут в работники — к девяти у них уже готово место, и я таких почти не помню. Плохие идут в исправительные колонии на юге; про них говорили, что там можно получить специальность. Обе дороги ведут в одно и то же, только первая длиннее и в белом воротнике.

Я вышел в четырнадцать. Меня не выгнали — я ушёл сам, потому что не было смысла остаться. Мне выдали бумагу, в которой было написано, что я есть. Я положил её во внутренний карман, и она у меня до сих пор там. Единственная вещь, которая была у меня с рождения и которую я не мог бы потерять даже при желании.

Улица не была злая. Говорю без нежности, просто: улица была деловая. На ней было легко, если ты готов рано вставать, не плакать и не брать того, чего тебе дать не могут. Все три к трём месяцам у меня были.

Сначала я носил ящики. Стоял у рынка, где брали мальчишку, который быстрее и здоровее, и я, будучи худым, бегал так, что мне платили. Потом я стал ходить по рынку так, чтобы не работать: понял, что у человека с ящиком на плече всегда есть мелочь, и выучился, где стоять, чтобы быть первым. Так тоже зарабатывают, просто об этом не пишут в книгах о путешествиях.

Потом был чужой карман. Я не буду рассказывать, как это делается, — тебе, может, полезнее не знать, а мне не вспоминать. Скажу только, что это требует не ловкости, а спокойствия. И что я был к нему очень способен.

Самое полезное из той жизни я вынес раньше, чем начал красть: я понял, кто чем торгует. Кто-то торгует маслом, кто-то билетами, а кто-то своим лицом. И если ты рано это увидел, тебе потом всё равно; а если ты этим воспользовался, у тебя будет цирк меньше моего. Я это видел на многих и могу засвидетельствовать.

На рынке в субботу было три рынка в одном: утром привоз, в полдень самый шум, к вечеру гниль и уценка. Я знал, где что в какой час и сколько стоит. Знал, что во второй половине дня всякий может выбросить яблоко. Я не голодал. Я уже тогда понимал: кто в этом разбирается, тот может жить без унижений.

И ещё я знал, что такое опилки. Ими посыпали карусель на ярмарке. Они были мягкие, их было много, и они держали то, чего не держала земля. Мне это потом понадобилось.

Я был мелкий в четырнадцать. Это оказалось не пороком, а вещью, которую можно использовать. Если бы мне тогда сказали: твой рост — твоё состояние, я решил бы, что надо мной шутят. А это было правдой. Одна из первых вещей, которые я понял: состояние у тебя именно такое, какое может быть, — оно в тебе и ни в ком другом.

Орёл

Орла я встретил через полгода после приюта, на рынке, и он меня не узнал, потому что я к тому времени научился стоять иначе.

Он был вором. Настоящим, не таким, как я: он работал в паре с человеком, который его учил, и получал долю, и это была уже не улица, а ремесло с наставником.

Он сказал мне: — Иди к нам. У нас Король, он берёт мальчиков и учит. — Я спросил: — Что берёт? — Он сказал: — Всё, что принесёшь. Но учит.

Я не пошёл. Не из благородства. Я посмотрел на его руки — они были как у человека, который много лет что-то носит и никогда не носит своего, — и я почему-то тогда подумал: я не хочу, чтобы мои руки так выглядели.

Через два года я его встретил ещё раз, в исправительной колонии для малолетних, куда меня водили смотреть, как там, — это было что-то вроде воспитательного дня, и это отдельная мерзость, о которой я расскажу, если тебе будет интересно. Он сидел на скамье во дворе и был уже не мальчишкой, а чем-то другим.

Он сказал мне: — Ты устроился. — Я сказал: — Устроился. — Он сказал: — Ну и дурак.

Я потом двадцать лет думал, почему он так сказал. И понял только тогда, когда сам стал ставить шатёр: у людей, которые всю жизнь только берут, есть одна общая черта — они не верят, что можно построить. Для них «устроился» звучит как «продался», потому что другой формы жизни они не видели.

Он умер в двадцать девятом, в колонии, кажется, от чахотки. Я узнал об этом случайно, из бумаги, которую мне принесли по другому делу, и я вычеркнул его имя из списка и потом весь вечер не мог считать.

Вот это тоже про меня, Воробей, и ты это знай. Я не спас его и не пытался. Я тогда думал только о себе, и я был прав, потому что мне было четырнадцать, и потому что я и о себе-то думал плохо. Но я его запомнил, и я его помню до сих пор, и это единственное, что я могу для него сделать.

Сен-Мор

В Сен-Мор я пришёл за две недели до ярмарки и стал сторожить место. Так делали все: занимаешь площадку, кладёшь сено, и если ты там — место твоё. Это был единственный способ получить приличную точку, и я за неё заплатил тремя ночами и одним огуречным супом.

На это же место и с этого же места привозили шатёр. Я впервые в жизни видел, как ставят шатёр. Скажу тебе прямо: ты ни разу не видел, как ставят шатёр. То, что ты видишь теперь, называется «принять шатёр», и получается у людей, которые могут себе позволить не торопиться. А тогда ставили на руках, на хрипах и на мате.

Мачты были деревянные, тяжёлые. Их держали на себя четверо, а пятый вёл верёвку. И это был момент, когда неплотно закрытый глаз значил, что кого-то придавит. Это понимали все, и никто об этом не говорил, и у меня первый раз в жизни встало в горле.

А потом я увидел часы.

Работы было много, платить было нечем, людей брали из жадности и держали из необходимости. На ярмарку в тот год наехало много всякого: гимнасты, у которых не было ковра, фокусники, у которых был один фрак. На этом фоне человек с золотыми часами и в хорошем пальто был виден как пожар.

Я говорю о Лекурбе. Тогда он был не тот, что потом. Тогда это был молодой человек немного старше меня, с высокими плечами, в узких брюках, и он смотрел на шатёр так, как смотрят на то, что решено взять, но ещё не взято. Он был некрасив и знал это, и некрасивость шла ему. Потом это у него прошло.

Я должен сказать: я его не знал. Не «не знал лично» — я вообще не знал, что он есть. Я видел часы на цепочке, карман, пальто, руку с тростью. И сделал то, что делал всегда, — с одним отличием, о котором потом думал всю жизнь.

Обычно ты знаешь, что делаешь. Тут я не успел. Он стоял, облокотившись на стол, часы вышли из кармана чуть набок, я шёл мимо — и рука моя сделала это сама, как если бы я нёс её отдельно. Часы были тёплые. Первое, что я почувствовал, — не тяжесть, а тепло. Камни в золоте тёплые от кармана, карман от тела. Поэтому они были не как вещь. Как человек.

Я ушёл, потому что ходить я умел лучше, чем стоять. И только на третьем углу понял, что тот человек смотрит мне вслед. И что он не кричит. И что это хуже, чем если бы кричал.

Он не пошёл за мной. Он стоял и смотрел, как я ухожу. И дал мне уйти.

Вот здесь начинается всё остальное. Не там, где я стал директором, и не там, где построил первый шатёр. Здесь, на третьем углу, когда человек, у которого я украл золото, не крикнул. Всё прочее было следствием. Об этом не пишут, но я тебе как свидетель: следствием.

За воротами

В ту ночь я не спал. Сидел у сена, в кулаке были часы, и меня трясло так, будто украли у меня, а онемел он. К утру я знал две вещи. Первая: здесь их оставить нельзя, за них схватят сразу. Вторая: за них можно получить много. Я думал об этом до света, потому что мне было шестнадцать и я первый раз в жизни держал в руках сумму, которую мог вообразить во множественном числе.

К полудню я пошёл в шатёр. Понимал, что это самое глупое, что можно сделать, и пошёл, потому что именно эту глупость мне хотелось сделать больше, чем отсидеться в своей дырке.

В шатре был униформист с ведром, старик с ногами, которые не гнулись, и человек в клетчатом пиджаке, который растирал старика и говорил: подожди. Я стоял у прохода и видел, что это за порог. За ним шли опилки, а до опилок от меня было так же далеко, как из приюта.

Я соврал. Сказал, что работал и что умею. Спросили, что умею. Я сказал: держать. Спросили, чем. Я сказал: руками и сердцебиением. Потому что я уже понимал — я видел на ярмарке, — что в этой работе главное не сила, а то, чего не жалко.

Меня взяли. А в ту же ночь, с третьей попытки, я сказал человеку в клетчатом пиджаке: я нашёл часы. Он сказал: положи на место. Я сказал: это они. Он молчал очень долго, а потом сказал: неси директору.

Директором был месье Брюнэ. Через двадцать лет о нём будут говорить, что он был честный. Он был честный: попробовал часы на зуб, положил в карман и сказал, что если за ними придут, он ответит, что нашёл их у меня. А я тогда могу топать сам. Это был один из самых ясных уроков менеджмента, которые я получил, и я не уверен, что он был плохой.

Часы мне не вернули. Но через три дня произошло то, что произошло, и всё пошло иначе.

А пока я стоял в том шатре, в темноте, и надо было собирать. И я стал собирать.

Я не попал в цирк красиво. Я в него набился. Меня брали за работу, потом за унижение, потом за то, что я разбирался в ценах. Это было моё единственное настоящее образование, и оно меня ни разу не подвело: я потом всю жизнь мог посчитать в уме, сколько стоит день шатра, и это заменяло мне латынь.

Караван

Хорошо. Дай мне воды. Не всю, половину — потом опять захочешь пить, а ты не захочешь, ты будешь думать, что я сплю.

Во дворе машина. Я слышал, как она подъехала, когда ты ещё не пришёл. Она стоит у ворот с трёх часов. Ты не говори мне, кто это, я и так знаю: у него терпение, у него хорошее пальто и он не умеет уходить.

Ты думаешь, я не в состоянии считать. Я в состоянии. Я лежу и считаю: шагов от ворот до каравана сорок два, он прошёл их четыре раза. Потом перестал. Теперь стоит.

Не выходи к нему сейчас. Пусть постоит. Человек, который ждёт, потом говорит правду, потому что устал держать лицо.

Ладно. Дальше.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Шатёр

Опилки

Первое, что я узнал в цирке, — это не искусство. Это расписание.

В шесть встают конюхи. В половине седьмого я уже таскал воду, потому что лошадь пьёт раньше, чем ест человек, и это не жестокость, это порядок: если лошадь не напоена, она не выйдет, а если она не выйдет, вечером не будет ни программы, ни выручки, ни жалованья. Так что первое, что я понял в этом деле: всё, что происходит на манеже, начинается за четыре часа до манежа и в другом конце двора.

Второе — опилки.

Опилки привозят машинами, сваливают в кучу под навесом, и они должны быть сухими. Мокрые опилки — это не мягко, это грязь, а грязь на манеже означает, что лошадь поскользнётся и что-нибудь сломает. Хороший машинист шатра пробует опилки рукой, как муку. Я думал, что это поза, и через месяц сам пробовал их рукой и не мог иначе.

Третье — что никто не смотрит на тех, кто ставит шатёр. То есть смотрят, конечно, но не в том смысле. Зритель платит за то, что внутри. А внутри — это только последний час из двадцати четырёх.

Мне было шестнадцать, и я был счастлив, и я не стыжусь этого, хотя счастлив я был не от того, от чего надо.

Я был счастлив от того, что у меня была койка, которую нельзя отнять, и еда в определённое время, и работа, у которой видно конец. Я потом много раз видел людей с большими деньгами и понял окончательно: человеку нужен не недостаток, а предсказуемость, хотя бы на неделю. За предсказуемость люди отдают почти всё, а я тогда получил её даром, и за это был готов таскать воду до ночи.

Брюнэ платил мне два франка в неделю и харчи. Из двух франков один я отдавал за место в фургоне, где спали четверо, и это было дешевле, чем казалось: сон в тепле зимой стоил своих денег. У меня оставался франк. Я его не тратил, а складывал в жестянку из-под леденцов, и это была моя первая касса, и я до сих пор помню, как она звучала.

Худо было другое. В цирке никто не разговаривает с тем, кто таскает воду. Не из злости. Просто у каждого своё место, и разговор через место — это как перелезть через барьер: зритель может, а служащий не должен. Я это принял быстро, потому что в приюте было то же самое, только с молитвой.

Но именно поэтому я стал замечать. Тот, кто таскает воду, имеет одно преимущество перед теми, кто на манеже: он видит всё, а на него не смотрят. Я выучил весь цирк за месяц — не потому, что был умный, а потому, что был невидимый.

Так я узнал, что у Брюнэ долги. Что старший конюх пьёт, но только по вторникам, и в среду его лучше не трогать. Что гимнастка, мадемуазель Жанна, каждый вечер стоит за кулисами и считает про себя так, чтобы никто не видел: раз, два, три, — и потом выходит. И что шатёр на восемьсот мест, если его набить до отказа, даёт выручку, которой хватает на десять дней, а если не набить — не даёт ничего.

Вот это последнее и стало моим делом, хотя тогда я ещё не знал, что оно моё.

Первый вечер

В первый раз я увидел представление изнутри через неделю после того, как меня взяли, и это было хуже, чем снаружи.

Снаружи ты сидишь и смотришь на свет. Изнутри ты стоишь за кулисами, держишь ведро и видишь верёвки, мешки с песком, человека, который ждёт, и человека, который боится. Публика видит одно, а изнутри между номером и номером — грязь, спешка и один человек, который шепчет «давай, давай, давай».

Я тогда стоял в проходе и смотрел в щель между полотнищами. Мне было велено не смотреть, а я смотрел, потому что мне было шестнадцать и потому что там, за щелью, был свет.

На манеже работала мадемуазель Жанна. Она вышла, и зал затих, и я слышал, как в первом ряду кто-то сказал: — Смотри, какая.

И вот в эту секунду я понял, за что люди платят. Не за то, что она делает. За то, что она делает это для них, и они это чувствуют, и в эту секунду они нравятся себе, потому что выбрали прийти.

Я потом тридцать лет пытался это удержать, и иногда получалось, и когда получалось, я это чувствовал по звуку: в шатре становилось тихо не так, как в пустом, а так, как в комнате, где спит ребёнок.

А потом номер кончился, и она ушла за кулисы, и я увидел её близко: она тяжело дышала, у неё дрожали руки, и она стояла, согнувшись, и я слышал, как она считает про себя — раз, два, три, — и потом выпрямилась, и на лице у неё уже было то, что видел зал.

Вот этому я не научился никогда. Я научился считать, ставить, договариваться, я мог вывести цирк из пожара, но я так и не смог понять, как человек делает себя для других и потом снова делается собой, и где он находится в промежутке.

Я тогда поставил ведро и пошёл во двор. Там было холодно и пахло опилками, и я, шестнадцатилетний, стоял во дворе и думал: значит, вот это и есть работа. Тебя видят, когда ты не ты, и это длится двадцать минут, а остальное время ты держишь ведро.

Огюст Верну

Верну был шапитмейстером. Теперь так называют человека, который объявляет номера, и это неправда: объявлять номера может любой с хорошим голосом. Шапитмейстер — это тот, кто отвечает за порядок на манеже и за то, чтобы зритель не увидел, как этот порядок держится.

Ему было под семьдесят, он был сухой, как палка, и ходил с прямой спиной, которую нельзя было бы объяснить ничем, кроме привычки. Он говорил мало и никогда не повышал голоса. Один раз за всю мою жизнь я слышал, как он кричит, и об этом я расскажу, когда придёт время.

Он не подпускал меня две недели. Я таскал воду, он проходил мимо и не смотрел. Потом он остановился и сказал: — Ты, который с ведром. Как тебя? — Эмиль. — Это не ответ на вопрос. — Трувэ. — Это тоже не ответ.

Я тогда не понял. Я понял через много лет: он спрашивал, кто я такой, а не как меня зовут, и я ответил ему бумагой, потому что у меня не было ничего, кроме бумаги. Он это услышал, и я думаю, что именно поэтому он меня взял.

Через два дня он сказал: — Будешь у меня вторым. Смотреть, молчать, держать. Понял? — Понял. — Не понял. Смотреть — это не глазеть. Смотреть — это когда ты видишь, что будет через минуту. Глазеть может кто угодно.

Он учил меня ремеслу так, как учат собак: без объяснений, повторением. Он не говорил «в этот момент надо поддержать». Он говорил: — Держи. И если я не держал, он потом говорил: — Теперь сам знаешь. И это было всё обучение, и оно оказалось лучшим, которое я получил в жизни.

Он был жесток. Не бил, но был жесток: однажды он заставил меня стоять с поднятыми руками сорок минут, чтобы я запомнил, что значит, когда немеет плечо. Потом сказал: — Теперь ты знаешь, как это бывает у других. Не жалея их слишком сильно, но и не жди от них больше, чем они могут.

И однажды — это было зимой, в пустом шатре, — он сказал мне единственную вещь, которую сказал прямо:

— Ты не будешь артистом. У тебя руки не те и лицо не то. И ты не расстраивайся: артистов много, а тех, кто умеет считать, мало. Ты будешь считать. Это тоже цирк. Просто это не видно.

Я тогда обиделся. Я обижался на это лет двадцать, а потом перестал, потому что он был прав, и потому что он был первым, кто сказал мне правду без желания меня унижить. В этом и была его доброта, если можно назвать добротой то, что человек не считает нужным тебя щадить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.